

Alter Camus

АЛЬБЕР КАМЮ

БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
ПАДЕНИЕ
ИЗГНАНИЕ И ЦАРСТВО
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
1951–1959



Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44
К18

Серия «NEO-Классика»

Albert Camus
L'HOMME REVOLTE
LA CHUTE
L'EXIL ET LE ROYAUME
CARNETS III (Mars 1951 — Decembre 1959)

Перевод с французского

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Орловой*

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

Каю, Альбер.

К18

Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951—1959) : [сборник : перевод с французского] / Альбер Каю. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 736 с. — (NEO-Классика).

ISBN 978-5-17-982827-3

В данный том вошли произведения Альбера Каю 1950-х годов — последний период его творчества, в котором, по мнению исследователей, бунтарские идеи писателя проявились наиболее ярко.

Не важно, идет ли речь о программном философском эссе «Бунтующий человек», о последнем законченном художественном произведении «Падение» или о новеллах из цикла «Изгнание и царство», отражающих глубинные изменения, произошедшие в сознании писателя, — Альбер Каю неизменно говорит о борьбе с обстоятельствами как о единственном смысле человеческого существования.

Кроме того, издание содержит полный текст записных книжек с марта 1951 по декабрь 1959 года — творческие дневники писателя.

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44

© Editions Gallimard, Paris, 1951, 1956, 1957, 1989
© Перевод. Е. Головина, 2016
© Перевод. Н. Немчинова, наследники, 2017
© Перевод. Е. Богатыренко, 2017
© Перевод. И. Радченко, 2014
© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2017
© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2017
© Перевод. Е. Гальцова, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

ISBN 978-5-17-982827-3

БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Жану Гренъе

И сердце открыто отдалось суровой
страдающей земле, и часто ночью в свя-
щенном мраке клялся я тебе любить ее
бестрепетно до смерти, не отступаясь от
ее загадок. Так я с землею заключил союз
на жизнь и смерть.

Гёльдерлин. Смерть Эмпедокла

ВВЕДЕНИЕ

Есть преступления на почве страсти и преступления, продиктованные рассудком. Грань между первыми и вторыми зыбка. В Уголовном кодексе удобства ради различие между ними проводится по принципу предумышленности. Мы живем во времена предумышленности и идеальных преступлений. Наши преступники перестали быть беззащитными детьми, находящими себе оправдание в любви. Напротив, они повзрослели и заручились неопровержимым алиби: подобная философия способна послужить любой цели и даже превратить убийц в судей.

В «Грозовом Перевале» Хитклиф готов ради обладания Кэти уничтожить целый мир, но ему и в голову не пришло бы заявлять, что это преступление разумно или найдет оправдание в обществе. Он совершит его, и все. У него нет никаких убеждений. Зато есть сила любви и сила характера. Но, поскольку любовь такой силы встречается редко, убийство остается чрезвычайным происшествием, событием исключительным. Однако с того момента, когда за неимением силы характера призывают себе на помощь доктрину, когда преступление ищет для себя рациональных обоснований, оно начинает распространяться с невиданной прежде быстротой — как способен лишь разум — и берет на вооружение все фигуры силлогизма. Оно было одиноким, как крик, и вот оно уже универсально, как наука. Еще вчера судимое, сегодня оно диктует законы.

Мы не собираемся выражать здесь свое возмущение происходящим. Цель данного эссе — в очередной раз признать сегодняшнюю реальность, состоящую в появлении рассудочного преступления, и исследовать его мотивы: без этого я не в состоянии понять свое время. Возможно, кто-то

сочтет, что эпоха, за пятьдесят лет поработившая, сломавшая и убившая семьдесят миллионов человеческих существ, должна быть в первую очередь подвергнута осуждению. При этом следует еще осознать ее виновность. В наивные времена, когда тиран, дабы прославиться, стирал с лица земли целые города; когда прикованный к колеснице победителя раб тащился через ликующий город; когда врагов на глазах собравшейся публики бросали на растерзание зверям — во времена столь простодушных преступлений никаких колебаний по поводу их оценки даже не возникало. Но лагеря смерти под лозунгом свободы и массовые убийства, оправдываемые любовью к человечеству или стремлением к безграничному человеческому счастью, в каком-то смысле выбивают почву из-под возможности давать им оценку. Когда преступление рядится в шкуру невинности, все встает с ног на голову, что мы и наблюдаем в наши дни, и уже невинность вынуждена оправдываться. Цель настоящего эссе — признать и исследовать это странное явление.

Может ли невинность, способная к действию, запретить себе убивать — вот в чем вопрос. Мы можем действовать только здесь и сейчас, в окружении людей, среди которых живем. И мы ничего не узнаем, пока не выясним, имеем ли мы право убить другого человека или согласиться с тем, что он будет убит. Поскольку сегодня любая акция прямо или косвенно приводит к убийству, мы не можем предпринимать никаких действий, пока не ответим на вопрос, должны ли мы совершить убийство и почему.

Таким образом, главное не в том, чтобы добраться до исходной сути вещей, а в том — раз мир такой, какой он есть, — чтобы понять, как следует в нем действовать. Во времена нигилизма, возможно, имело смысл задаваться вопросом о том, что такое самоубийство. Во времена идеологий надлежит спросить себя, что такое убийство. Если в убийстве есть своя правота, то мы, так же, как наша эпоха, несем за это ответственность. Если же нет, то мы должны распиться в собственном безумии и нам необходимо либо найти ему обоснование, либо вообще перестать рассуждать на эту тему. В любом случае нам предстоит дать ясный ответ на вопрос, заданный кровавыми драмами века. Мы — допрашиваемые. Тридцать лет назад, прежде чем решиться убить

себя, требовалось пройти стадию почти полного отрицания, включая отрицание себя через самоубийство. Бог жульничает, мир, в том числе я, жульничает тоже, поэтому я умру — вопрос стоял о самоубийстве. Сегодня идеология отрицает только других, только тех, кто жульничает. И убивает. Сегодня увенчанные наградами убийцы что ни день собираются в ячейку — вопрос стоит об убийстве.

Оба типа аргументации неразрывно сплетены друг с другом. Но главное, в эту ткань вплетены и мы сами, и так плотно, что больше не в силах выбирать, на какой из вопросов отвечать. Сегодня не мы выбираем вопросы, а они нас. Примем это как данность. Настоящее эссе ставит своей целью продолжить — столкнувшись с проблемой убийства и бунта — размышление, заданное проблемой самоубийства и понятием абсурда.

Пока что из этого размышления вытекает всего одно понятие — понятие абсурда. Оно, в свою очередь, не дает нам в том, что касается убийства, ничего, кроме противоречия. Если пытаться строить правила поведения на чувстве абсурда, отношение к убийству становится по меньшей мере безразличным, что, как следствие, делает возможным само убийство. Если ни во что не веришь, если ничто не имеет смысла, если мы не настаиваем ни на каких ценностях, значит, все возможно и ничто не важно. Нет больше никаких «за» и «против», а убийца не прав и не виноват. Можно подбрасывать угольку в печь крематория, а можно заниматься лечением прокаженных. Зло и добродетель суть дело случая или каприза.

Допустим, мы решим воздержаться от какого бы то ни было действия. Но это будет означать, что мы соглашаемся с тем, что кто-то кого-то убивает, в крайнем случае искренне сокрушаемся о несовершенстве человеческой природы. Также можно заменить действие трагическим дилетантизмом — тогда человеческая жизнь превращается в ставку в игре. Наконец, можно попробовать предпринять небескорыстное действие. В последнем случае, за неимением высшей ценности, направляющей действие, оно будет устремлено на достижение конкретной ближайшей цели. Если отсутствует различие между истинным и ложным, добрым и злым, останется одно — показать себя наиболее успеш-

ным, иначе говоря, самым сильным. Мир тогда будет разделяться не на праведников и негодяев, а на хозяев и рабов. Таким образом, с какой стороны ни посмотри, в поле отрицания и нигилизма убийство окажется в привилегированном положении.

Если мы соглашаемся принять абсурдистский подход, нам следует подготовиться убивать, отдавая предпочтение логике перед угрызениями совести, которые мы назовем иллюзорными. Разумеется, потребуются некоторые оговорки, но, если верить опыту, существенно меньшие, чем нам представляется. К тому же, как мы обычно видим, всегда остается возможность убивать чужими руками. Все подчинено логике — если логика применима.

Но при подходе, подразумевающем, что убийство и позволительно, и одновременно непозволительно, о какой логике может идти речь? Одним из самых важных следствий, вытекающих из анализа, основанного на абсурде, является осуждение убийства — и это после того, как тот же самый анализ доказал безразличие отношения к убийству. Действительно, из аргументации абсурда вытекает отрицание самоубийства и поддержание отчаянной конфронтации между человеком, терзаемым вопросами, и молчанием мира*. Самоубийство означало бы конец этой конфронтации, а логика абсурда не способна от нее отказаться, не отринув собственных предпосылок. В рамках этой логики подобный шаг означал бы бегство или избавление. В то же время очевидно, что эта аргументация признает единственным необходимым благом жизнь, поскольку именно жизнь является непременным условием для возникновения этой конфронтации; вне жизни логика абсурда не имеет основания. Чтобы заявить, что жизнь абсурдна, надо иметь живое сознание. Каким образом, не делая заметных уступок чувству комфорта, сохранить в неприкосновенности исключительное право на смерть? Как только мы признаем, что жизнь есть благо, мы должны согласиться, что оно распространяется на всех людей. Если самоубийство логически необъяснимо, то же самое относится и к убийству. Да, логика абсурда допускает фатальное убийство, но не признает рассудочного. Однако

* См.: Миф о Сизифе.

в рамках упомянутой конфронтации убийство и самоубийство суть явления одного порядка, и мы вынуждены либо признать, либо отвергнуть и то и другое.

Абсолютный нигилизм, признающий правомерность самоубийства, еще легче признает рассудочное убийство. Если наше время с такой легкостью оправдывает убийство, то именно в силу равнодушия к жизни, которое есть признак нигилизма. Наверное, были эпохи, когда страстная любовь к жизни заявляла о себе так громко, что это порой приводило к криминальным эксцессам. Но сами эти эксцессы были сравнимы с жаром, достигаемым в момент наивысшего наслаждения. В них не было ничего от монотонного порядка, устанавливаемого убогой логикой, для которой все безразлично. Эта логика обосновала ценность самоубийства, которой пропиталось наше время, доведя ее до крайнего выражения, каким стало узаконенное убийство. Одновременно она нашла свою кульминацию в массовом самоубийстве, наиболее убедительную демонстрацию которого мы увидели во время апокалипсиса гитлеровского режима в 1945 году. Саморазрушение ничего не значило для безумцев, готовивших себе в подземных бункерах смерть как апофеоз жизни. Главное — не умирать одному, а прихватить с собой остальной мир. Человек, кончающий с собой в одиночестве, в каком-то смысле сохраняет понятие ценности жизни, потому что не считает себя вправе распоряжаться чужими жизнями. Доказательством служит тот факт, что в своем стремлении господствовать над окружающими он никогда не использует чудовищную силу и свободу, даруемую ему решением умереть; всякое одиночное самоубийство, не вызванное озлоблением, в некотором смысле благородно или исполнено презрения. Но презирать что-либо можно только во имя чего-то другого. Если мир безразличен к самоубийству, то лишь потому, что внутри самоубийства существует некая идея, к которой оно относится или могло бы относиться небезразлично. Мы полагаем, что, уничтожая себя, уносим с собой весь мир, но из самого факта смерти рождается ценность, возможно, говорящая о том, что жить все-таки стоило. Таким образом, абсолютный нигилизм не сводится к самоубийству. Он может реализоваться лишь при условии полного уничтожения себя и других. Во всяком